
pocket**book**

rocket**book**

Кузьма
Петров-Водкин
Пространство Эвклида



Москва
2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ПЗ0

Оформление *Андрея Саукова*

В оформлении обложки использована репродукция картины «Голова юноши» (1910) художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878—1939)

Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич.

ПЗ0 Пространство Эвклида / Кузьма Петров-Водкин. — Москва : Эксмо, 2019. — 384 с.

ISBN 978-5-04-101119-2

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — один из самых интересных художников XX века, с собственным строем живописи, педагогической системой, художественным мышлением.

Автобиографическая повесть «Пространство Эвклида» посвящена становлению художника. Наряду с биографией автора, читатель знакомится и с интереснейшими размышлениями о творчестве и искусстве в целом.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-101119-2

© Текст, издательство «Око», 2019
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2019

Об этой книге

К. С. Петров-Водкин — прославленный российский живописец, график, театральный художник и теоретик искусства. Это один из самых интересных художников XX в., с собственным строем живописи, педагогической системой, художественным мышлением.

Его художественное творчество вызывает неизменный интерес. Вместе с тем он был и талантливым писателем, чье мастерство и манера изложения не уступают в своеобразии живописным работам.

Автобиографическая повесть «Пространство Эвклида», посвященная становлению художника, написана самобытным языком в сугубо индивидуальной литературной манере. Оригинально построенные фразы и обороты речи, обилие остро подмеченных взглядом художника деталей и подробностей создают плотную, энергичную прозу, притягивающую читателя. Наряду с биографией художника читатель знакомится и с интереснейшими размышлениями о творчестве и искусстве в целом.

Глава 1

ВЫЛЕТ ИЗ ГНЕЗДА

К выпускным экзаменам мы, школьники, незаметно для самих себя возмужали. У каждого набухли и успокоились грудные железы. Лица стали озабоченнее. Огрубели наши голоса и смелее заговорили о девушках.

Начинали курить, правда, еще потихоньку от родителей. Пересилив тошноту и отвращение от табачного дыма, выработывали мы жесты затяжек, держания папиросы между пальцами, в углу рта, с цежением слов, выпускаемых одновременно с дымом.

Беседы сделались разумнее. Мы перешли к вопросам, о которых год тому назад и не думали. Насущным вопросом было — преимущества и осмысленность той или иной профессии: каждый намечал свой путь или кому его намечали родители, но немногие из нас решились бесповоротно переплеснуться за Хлыновск, и немногие сознавали всю скудность нашего учебного багажа, да и потребность в его пополнении была не у многих.

Сидим мы во дворе школы, — Петр Антонович нездоров, — мы знаем виновника нездоровья — буфет на «Суворове», сидим и обсуждаем наши предположения.

— Буду в Москве улицы подметать, а в Хлыновске не останусь! — заявляет Позднухов — наш поэт, романтик. Он сирота; дядя, у которого Позднухов сиротствовал, тоже бобыль, из прутьев мебель налаживал;

так дядя решил, что раз довел он племянника до «высокой науки», так теперь кормежку ему делай.

— Пешком уйду, — продолжает Позднухов, — у меня и багаж готов: книга Пушкина, сорок копеек и сухарей насушил за зиму...

И мы знали, видно было по человеку, что он сдержит то, о чем говорит.

Петя Сибиряков — невеселый, у него тоже взрывчатое внутри, но он слишком мягок: его направляют в Саратов в торговое предприятие. Кузнецов, сын почтальона, в телеграфных чиновниках продолжит он профессию отца. Кира Тутин должен овладеть «высокими механики» — это его решение. Самый спокойный из всех за судьбу свою — это Вася Серов, он по прямой линии пройдет жизнь, его разум четок и цепок, кто не посторонится на его пути, сам свалится; логикой голых истин Вася победит все свои немощи, и любовь, и жалость, и межпланетные загадки, закроет клапаны рассудка на прошлое и будущее, чтобы выровнять настоящее в длину и в ширину.

Трое учеников предполагали держать в железнодорожное училище.

— А ты? — обращаются ко мне. А я и не знаю, или, наоборот, слишком хорошо знаю мою склонность, но нет у меня определенной формы действия, я чую окольные пути, которые мне предстоят, я не знаю даже, есть ли для меня подходящая школа, да и как назвать то, чем я хотел бы заняться, — ведь я был пионером в Хлыновске, открывшим новое занятие.

Наш круг мозолистый, изложи ему занятие ясное. Черноты работы он не испугается, над ней не посмеется, только чтоб не было в работе передаточности дальней и чтоб полезность ее была обоснована. А как мне было обосновать занятие художника?

— Я также поеду в железнодорожное! — высказываю я товарищам только что созревшее во мне решение, — надо было с чего-то начинать жизнь и не прерывать учения.

Из выпускников у нас было два коновода — Серов и Тутин.

Всю школу прошел Серов на пятерках. Он не обладал фантазией игры и шалостей. Весь учебный материал он знал от сих и до сих. Прибегающим к нему за помощью товарищам он не отказывал, но ему казалось столь неестественным чего-нибудь не знать, что его помощь казалась высокомерной и всегда слегка колола самолюбие прибегнувшего к ней.

Большая голова Васи с черными глазами, которые, соединенные с гримасой угла рта, казались насмешливыми и недобрыми, эта голова, выбрасывавшая несомненные, школьные истины, была для меня объектом многих наблюдений. Я был к нему холоден, но не мог не восхищаться его мозговой коробкой, в которой так крепко были уложены и формулы математики, и призвание варягов, и катехизис. Отвечая урок низким, звучным голосом, Серов как бы приказывал квадрату гипотенузы строиться с катетами, Рюрик, Синеус и Трувор беспрекословно приходили владеть Русью, члены символа веры каменными плитами печатали неизбежность.

Внутри меня было несогласие с такой тиранической безусловностью, но я не мог не поддаваться его умозаключениям.

— Ну и умный этот Васька, — говорил смешливый Гриша Юркин, — пра, ей-богу, он в исправники пролезет!

Уж не знаю, крайности или прямолинейности сходятся, но законоучитель наш нарадоваться не мог на Серова. Отчитывает тот ему, бывало, урок, а протопоп

умиленно разглаживает складки рясы, и дакает в бороду, и вздыхает, и растворяется в красноречии Васи от собственного косноязычия.

— Вот бы архиерей-то, да бы из своих, — видно, мечтал поп.

И случилось, что после урока звал законоучитель Васю в уединение и убеждал юношу в выборе подобающей карьеры.

— Опять в духовные звал, — отвечал Серов на наши расспросы.

Гриша Юркин спал и видел себя попом.

— Ах ты, вот те, ах ты!.. — ахал всерьез Юркин над своей мечтой. — Что же это длинногривый меня не приглашает? Ведь Васька назубок, а я по совести церковное знаю... Подожди, я ему изложу урок... Серову кутейность ни к чему, а я о сироте моей безродной стараюсь... Ах, уж покормил бы я мамашеньку шпионами в сметане!..

Надо сказать, несуразный Гриша отлично знал святцы и катехизис, но его несчастьем было всегдашнее умозатмение; он путал слова по созвучию — шпионы у него вызревали в навозе, шампиньоны предавали родину. И вот, когда на первом же уроке мечтающий о духовном звании предложил отвечать по богослужению, мы с удовольствием слушали Гришино изложение. Ему даже удавалось избегать путающих его слов. Протоиерей также насторожился по-хорошему и задал последний вопрос о «проскомидии прежде освященных даров», и вот на него четко, без запинки, что твой Серов, начал отвечать Юркин:

— Микроскопия летаргии, пресыщенных даров совершается...

Законоучитель с кулаками бросился на бедного юношу:

— Балда бесовская! Заткни омраченную глотку!

Смешливый Гриша было фыркнул от трясения протоповой бороды, но потом очень вознегодовал.

— Так вот назло тебе докажу, распро-поп эдакий!.. — погрозил он вслед уходящему.

И что же, Юркин все-таки стал попом в селе Левитине. Мужики, говорят, любили веселого, простецкого батюшку, и если бы не водка, которой безмерно предался Гриша, может быть, он шагнул бы и за протопу. Но однажды во время обедни зеленый змий показался ему идущим с клироса. Юркин шарахнул кадиллом в змеиную пасть и непристойно заругался в ужаснувшуюся толпу прихожан.

Умер Гриша в доме для умалишенных в губернии.

Вторым коноводом был Тутин. Если Серов накапливал знания, то Кира их пропускал через себя — от него легко учились и другие. О нем я уже рассказывал в «Хлыновске» и обрисовал его влияние на меня.

Теперь, когда я пишу эту книгу, никого из перечисленных уже нет в живых.

Когда предстоит бросить насиженное годами место, то все в нем приобретает особенную привлекательность. Таким местом был для меня сад.

Отсюда я всматривался в мир. С пригорка у круглой беседки я научился разбираться по звездам. Восход, зенит и закат солнца знались мною по направлению дорожек и деревьев. Здесь прошли годовые смены пейзажа, дожди и бури, весны и зимы, по ним я стану оценивать в дальнейшем эти явления.

Здесь обдумывал я людей, животных и птиц. Устанавливал на свои места ценности, симпатии и ненависть. Здесь научился я любить землю — от влажной гряды с набухавшими ростками, ухоженной моими руками, до ее массива, ворочающего бока луне и солнцу.

Железнодорожная школа была для меня далекой невозможностью, и, покуда что, я воспользовался ре-

комендательным письмом для поступления в ремонтные мастерские Среднего Затона. Что и это занятие будет для меня только пробой, что мне нужен был только перескок от Хлыновска дальше, чтобы приобрести разбег, это я знал наверное и также знал, что новая обстановка и дисциплина работы дадут мне большую устойчивость среди людей.

Да и надо было проверить, сильна ли во мне тяга к искусству.

Средний Затон находился верстах в тридцати от города. Я направился туда пешком, чтоб налюбоваться напоследок с детства знакомыми местами.

Я шел в это, как мне казалось, логовище, о котором столько наслышался сызмальства, где сверлят остовы пароходов, пьянствуют под гармонную частушку и делают еще что-то...

— Поганое место в Затоне! — утверждали хлыновцы. Запомнилось мне: Кручинин Петруха рассказывал, как влопался он в Затоне — лошадь у него сбегала с ночного. И он, путаясь оврагом и лесом до следующей ночи, в глубине заросшего ущелья набрел на свет из-под земли: рама стекольная была положена над землянкой, — оттуда и был свет. Заглянул Кручинин внутрь и ахнул: люди полуголые под землей, как черти у огня возятся, мехи раздувают. В горшке на углях сплав кипит, а рядом, как на сковороде для оладьев, льется металл. На земле корчага стоит, и в нее вылетают кругляшки блестящие. Присмотрелся Петруха, а в корчаге деньги серебряные... Бросился Петруха прочь от подземелья и про лошадь забыл.

Средний Затон по дороге в Шиловку. Дорога шла через него мимо графской экономии. Здания мастерских не видны, и только по лязгу, звону и скрежету сверл угадывался механический муравейник.

Дед Родион с детства запугивал меня этим местом.

Ткнет, бывало, кнутовищем к звукам Затона и скажет:

— Слышишь, реву сколько, — это они человека живьем в машину заколачивают...

По-своему понимал я смысл дедовой речи, и мне представлялись чудовища огня и железа, пожирающие людей.

Через сотню-другую колесных поворотов шум прекращался, снова чирикали птицы, стрекали из-под телеги стрекозы, пахло полынью и овчиной.

Так было тогда, теперь я шел в самое машинное пекло.

На перевале Яблоновского хребта присел я у родника отдохнуть и перекусить. Была середина пути. Отсюда виднелись Федоровский Бугор и Вечный остров. Вниз и вверх по Волге раскинулись широты степей луговой стороны. Гряды холмов горного берега, словно спасаясь от жары, уткнули лесистые морды в реку.

Не повернуть ли назад? Нет, не свернуть ли в горы и странником зашагать из края в край предугадываемых пейзажей страны моей?

Разыскал квартиру мастера Звонягина. Прочел он рекомендательное письмо, смерил меня глазами поверх очков и просто, совсем не по-машинному, как я ожидал, сказал:

— Ну что же, в добрый час, местечко найдется. Хочешь по механической, — ладно... Сегодня переночуй у нас, — жена тебе уголок наладит, а завтра видно будет.

Разлетелись все мои страхи. За ужином я уже совсем освоился и с Пелагеей Васильевной, женой Звонягина, и с малышом сынишкой, который мне, разомлевшему от дороги и от приветных хозяев, то и дело подсовывал игрушки, втягивая меня в дружбу.

С половины восьмого утра следующих за этим дней работал я в слесарно-кузнечном отделении. Со мной в

паре был мальчик Сема, несколько моложе меня летами. На черном от копоти и от плохого мытья лице моего товарища только и были не поддавшиеся грязи — это его глаза, серые с темными ободками. Среди фурчания мехов, грохота о наковальню с брызгами искр от огненной болванки, нехотя отдающей воле куящего, — устремленные вопросительно глаза Семы, как окошко на воздух.

У мальчика не было двоений в желаниях: «отдали в ученье» — для него было бесповоротной формулой. По завершении своих знаний пред ним открывалась светлая дыра в будущее.

Вечером, после работы, лежа на откосе Затона над засеянными в ремонт пароходами, Сема мечтал, как он станет бегать на этих пароходах от низу и до верха Волги и орудовать в кочегарке машиной. Он сорок верст с теткой (которая вместо отца) ехал водой до самого Балакова и видел, как в пароходном брюхе человек рычагами ворочал — хозяин хозяином, любое колесо ему нипочем. Захотел — и стоп машина, у него всякий зубчик под рукой и на памяти...

Мастеровых было много неграмотных, но интерес к чтению был большой. Меня быстро приспособили как чтеца... Любимым чтением были газеты. Слушали вразнобой — одного здесь захватит, другого там, — начнут обсуждать. Тема блуждает, разрастается от машины до «тяжело нашему брату спины мозолить», до «кто виноват? Как по-другому жить?».

Мне тогда же показалось отличным направление их мыслей от мыслей крестьян: у крестьян в центре стояли вопросы накопления ценностей, а у затоновцев — распределения их; крестьяне говорили: «Был бы хлеб, а рты сыщутся», а мои слушатели считали более верным сначала рты сосчитать, а по ним заготовку делать.

Несколько парней сговорились учиться грамоте. И, надо сказать правду, хорошие они были ученики: наспех поедят, бывало, а которые еще кусок дожевывают, но уж на крыльцо склада, где происходили наши занятия, не опоздают ни на минуту.

Я чувствовал на себе результаты работы с машиной: безупречная логика маховика увязывала приводными ремнями и передачами всю систему мастерской, мускулы ритмовались с ней и к такому же порядку приводили и мозговую деятельность. Приятно и бодро мне показалось в дружной семье механизмов. Роднился я с ними и гордился их безупречностью.

Другое впечатление, когда покажется, что это ты властвуешь над машиной, повелеваешь ей и что ты захочешь, то она и сделает. Поверить этому впечатлению — это значит получить увечье, новички часто на это нарываються. Машина этого не любит. Много я любовался на поведение матерых специалистов с машиной: сговор, лад, ласковость какая-то у них с вращающимся товарищем. Все его неладности, перебои, жалобы, как от занемогшего друга, воспринимает специалист, и ни одного грубого жеста не проскользнет у него к машине. Он облает, матюкнет приятеля, попавшего под руку, а с машиной деликатен и выдержан.

Новоиспеченного парня, допущенного к машине, чрезвычайно иногда она заносит, — ему сам черт не брат, если он не на этом же машинном деле.

Вспоминаются мне с появлением автомобилей в столице вчера сбрившие бороды и сделавшиеся шоферами мужики: сколько в них было презрения к шагающим пешком и к жертвам, входящим в их магические кабинки. Это тебе не Ванька-лихач на гнедой кобыле, — шофер нажимает педаль, и от Ваньки след простыл... Он — пожиратель пространства!